



К. ПАУСТОВСКИЙ

**РАСТРЁПАННЫЙ
ВОРОБЕЙ**

К. ПАУСТОВСКИЙ

РАСТРЁПАННЫЙ ВОРОБЕЙ

СКАЗКИ

РИСУНКИ
В. ЦИГАЛЯ



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» · 1986

P2
П21

Паустовский К. Г.

П21 Растрёпанный воробей: Сказки/Рис. В. Цигалы. — М.: Дет. лит., 1986. — 48 с., ил.

35 к.

В книгу вошли известные сказки писателя: «Тёмный хлеб», «Рождение жука-посорога», «Стальное колечко», «Растрёпанный воробей».

П 4803010102—259
М101(03)86 **Без объявл.**

P2



ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался у околицы и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрстого хлеба, или, случилось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу «Ну Тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неблагодарность, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая

головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добратся к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминуемая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не двели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же трясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злости людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерел я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютой мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный.

В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пыльщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли,



то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колот Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замёрз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадию — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверь. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарак-





нулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.

— Ну,— сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку,— время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат,— сказал Филька,— как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Повернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты, шустрый какой!— сказал мельник.— Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его!— сказал Филька.— Пробьём мы, ребята, и такой лёд!



- А ежели замёрзнете?
- Костры будем жечь.
- А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает».
- Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.
- Ну, ваяй собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что

переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыши падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с тёмной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упростила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не верили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или всё это она выдумала от хвостовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молотить зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились



от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах — ребята, кошки, даже мыши, — всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисичи вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николай держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат, — не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попытался в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил

голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала, как пулемёт.





ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА

(Солдатская сказка)

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Стёпа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стёпа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но всё равно продолжал стучать и браниться.

Стёпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Стёпу за палец,— хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Стёпа пальца не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Стёпы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Пётр Терентьев усмехнулся на Стёпин подарок, погладил Стёпу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаса.

— Только ты его не теряй, береги,— сказал Стёпа.

— Нешто можно такие гостинцы терять,— ответил Пётр.— Уж как-нибудь берегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и чёрным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Пётр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Пётр смущённо усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно.

Однажды ночью Пётр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки.

Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали жёлтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он ещё не видал. Молний было слишком много. Звёзды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а взлетали с земли, освещали всё вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так

ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мёртвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться, — уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, тёплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны.

Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух — испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Пётр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушёл, — ответил Пётр с огорчением. — Вот беда!

— Нашёл об чём горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Пётр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорогá память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — всё равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Пётр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идёт, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Пётр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогАЗа, и бойцы ещё больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Пётр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев берёзы много было листьев вяза и тополя. И Пётр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешёл мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаса подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Пётр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьём и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Пётр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура!». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что всё равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зелёном мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налёта ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побегал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Пётр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зелёных мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура!».

Месяц Пётр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Пётр снова ушёл на фронт — рана у него была лёгкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжёлых боёв был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лошинки громадные чёрные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.





Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул тёплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям.

Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из неё сделаем сад и заживём, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Пётр. — Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Стёпа.

Пётр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усам, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Стёпа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Пётр, когда Стёпа вернулся, — теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Стёпа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Пётр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.



— Ну разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек.

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озёрах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.





СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала её в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лягом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с весёлым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвётся к станции из дальнего чёрного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колёса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду её не подняло над землёй и не утащило за поездом. Когда поезд пронёсся, а снежная пыль ещё вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, — сказал боец, — цветок-лепесток в валенках! Больно серьёзная!

— А ты так возьми сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую сигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в её синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потёр о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенёк совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесёт он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенёк на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый сапёр. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша всё трогала колечко, повёртывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нём не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у неё большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слёзы варежкой, но они всё равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.







Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало, там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщёт.

Старый воробей Сидор спал на шесте, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склёвывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живёт в избе, в тепле, в сытости, а всё ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и



понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдёшь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропичал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял всё сильнее.

К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и всё чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место,

где уронила колечко. Всё чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дурёха! — шептала она. — Забаловалась, обронила перстенёк. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух! Всё поводит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горючий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Тёплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели чёрные ветки, шуршал, сползая с крыши, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нём тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьёв с каждым её шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нём выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей ещё в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины, и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, — и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним чёрным листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Ещё издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.



— Ну вот,— сказал дед,— ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу лёгким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечём ржаные лепёшки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и тёплая заря занималась над землёй. На краю неба ещё догорали звёзды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Её обдало сильным тёплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых серёжек посыпалась жёлтая пыльца. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошёл? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что мимо неё прошла весна.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватить руками, — зазвене-ла, запела у неё на сердце.

Весна разгоралась с каждым днём всё ярче, всё веселей. Такой

свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щёлки, но всё время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенёк на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие берёзовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенёк на указательный палец.

«Успею,— подумала она.— Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»





РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕЙ

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щёлкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить и девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришёл срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснётся и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове — должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу.

За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привёз этот букетик из какой-то далёкой страны.

Потом Машин отец ушёл на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием «Камчатка», и вернётся не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот, — прошептала мама, — ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего ещё не понимаешь, — ответила мама. — Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла, — сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Всё! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, что-

бы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поплёскивал. Было так тихо, что казалось, всё спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и всё сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление пищало свою тёплую песню, а зима всё сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого чёрного неба может слетать такой белый снег. И ещё было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и увидёт Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала.

Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковёр и оставляла на столе мокрые следы.

Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплёскивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплёскивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробы.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробы прокрались в ларёк и выдалбливают из щелей кусочки замёрзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обёртку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загорюничавшись ладонями от

света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья по имени Пашка.

Жизнь для воробьёв пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу «Чичкин», — воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овёс высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и весёлая.

«Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчицьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочём не допустят...»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларёк и не успел ещё ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове.

Пашка упал и завёл глаза: прикинулся мёртвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула — выбралась на всё воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошёл к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в неё Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невесёлой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склонуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера



хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подзвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерёт. Варежку мне потом принесёте. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щёткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нём удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копчёную рыбу голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклёвывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принёс ей замёрзшую рогатую гусеницу — нашёл её на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расчёску, игральную карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал





по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то зашкрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдётся стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней.

Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чужинной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьёв, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларёк, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларёк, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была учёная, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларёк.

Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларёк и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер. — Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларёк и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули.

Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым солнцем, и богатых уродок сестёр, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка всё время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобой, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программ в руках и большими чёрными биноклями, — даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на



Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слёзы — вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколотла его к своему платью.

Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — её мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да, — ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша. — От радости смеются.

— От маленькой радости смеются, — ответила мама, — а от большой — плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.



Для младшего школьного возраста
Константин Георгиевич Паустовский
РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕЙ

ИБ № 10125

Ответственный редактор
А. Ю. Березутская
Художественный редактор
В. А. Тогобидкиа
Технический редактор
Н. Ю. Краюткина
Корректор
И. В. Колдова

Подписано к печати с готовых дилитоцинов 10.02.86.
Формат 84×108/16. Бум. офс. № 1. Шрифт обычный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 4,12. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2832. Цена 35 коп.
Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Орден Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Рославльская графопромхоз Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суцѣнский вал, 49.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»